

Часть первая

Своего рода введение

1

Откуда, надо заметить, ничего не вытекает

Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, — и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты — стоял прекрасный августовский день 1913 года.

Автомобили вышмыгивали из узких, глубоких улиц на отмели светлых площадей. Пешеходы тянулись темными мглистыми потоками. Там, где их вольную поспешность перерезали более мощные скорости, они утолщались, текли затем быстрее и, немного попетляв, опять обретали свой равномерный пульс. Сотни звуков сливались в могучий гул, из которого поодиночке выступали вершины, вдоль которого тянулись и снова сходили на нет бойко выпиравшие ребра, от которого откалывались и отлетали звонкие звуки. По этому шуму, хотя особенность его описанию не поддается, человек после многолетнего отсутствия с закрытыми глазами узнал бы, что он находится в имперской столице Вене. Города

можно узнавать по походке, как людей. Открыв глаза, он определил бы то же самое по характеру уличного движения гораздо раньше, чем ему подсказала бы это какая-либо примечательная деталь. И даже если он только воображает, что смог бы определить, тоже не беда. Переоценка вопроса о том, где ты находишься, идет от времен кочевого быта, когда надо было примечать места пастбищ. Интересно узнать, почему, когда речь идет о красном носе, довольствуются весьма неточной констатацией, что он красен, и никогда не спрашивают, какого именно он красного цвета, хотя это можно с точностью до микрона выразить через длину волны; а когда речь идет о такой намного более сложной вещи, как город, где кто-то находится, всегда хотят точно знать, какой именно город имеется в виду. Это отвлекает от более важного.

Не надо, стало быть, придавать особое значение названию города. Как все большие города, он состоял из разнобоя меняющихся, забегающих вперед, отстающих, сталкивающихся предметов и дел, из бездонных точек тишины между ними, из проторенных путей и бездорожья, из большого ритмического шума и из вечного разлада и сдвига всех ритмов и в целом походил на клокочущий кипятик в сосуде, состоящем из прочного материала зданий, законов, установлений и традиций. У тех двух, что шли в этом городе по широкой оживленной улице, такого впечатления, разумеется, вовсе не было. Они явно принадлежали к привилегированному слою общества, были аристократичны в одежде, осанке и манере говорить друг с другом, носили на белье свои со значением вышитые инициалы и точно так же, то есть не напоказ, а в тонком нижнем белье своего сознания, знали, кто они такие и что в имперской столице они на месте. Если предположить, что их имена Арнгейм и Эрмелинда Туцци, — что, однако, не соответствует действительности, ибо госпожа Туцци находилась в августе в обществе своего супруга в Бад-Аусзее, а доктор Арнгейм еще в Константинополе, — то напрашивается во-

прос, кто же они. Люди живого ума очень часто встречаются на улицах такие вопросы. Решение их, надо заметить, состоит в том, что их забывают, если не могут в течение следующих пятидесяти шагов вспомнить, где уже видели этих двоих. Но вот пара эта внезапно остановилась, потому что впереди столпился народ. Уже на мгновение раньше что-то выскочило из ряда, двинулось наискось; что-то крутнулось, скользнуло в сторону, — тяжелый, резко затормозивший грузовик, как оказалось теперь, заехав одним колесом на кромку тротуара, сидел на мели. Как пчелы вокруг летка, сразу скопились люди вокруг пятачка, который они оставили незаполненным. Там, выйдя из своей машины, стоял шофер, серый, как оберточная бумага, и объяснял происшествие, грубо жестикулируя. Взгляды подходивших устремлялись на него, а потом осторожно спускались в глубину прогалины, где кто-то недвижимый, как мертвец, был уложен на край тротуара. Он пострадал из-за собственной неосторожности, как все признали. Люди попеременно опускались возле него на колени, чтобы что-нибудь с ним предпринять, распахивали и снова запахивали его пиджак, пытались приподнять его или, наоборот, вновь уложить; никто, собственно, не преследовал этим никакой другой цели, кроме как заполнить время, пока со спасательной службой не прибудет умелая и полномочная помощь.

Дама и ее спутник также подошли и поглядели поверх голов и согнутых спин на лежавшего. Затем они отошли назад и помедлили. Дама почувствовала что-то неприятное под ложечкой, что она вправе была принять за сострадание; это было нерешительное, сковывающее чувство. Господин после некоторого молчания сказал ей:

— У этих тяжелых грузовиков, которыми здесь пользуются, слишком длинный тормозной путь.

Дама почувствовала после таких слов облегчение и поблагодарила внимательным взглядом. Она уже несколько раз слышала это выражение, но не знала, что такое тормозной путь, да и не хотела знать; ей достаточно

было того, что сказанное вводило этот ужасный случай в какие-то рамки и превращало в техническую проблему, которая ее непосредственно не касалась. Да и слышна была уже резкая сирена «скорой помощи», и быстрота ее прибытия наполнила удовлетворением всех ожидавших. Замечательная вещь — эти социальные службы. Пострадавшего положили на носилки и вдвинули вместе с ними в машину. Вокруг него хлопотали люди в какой-то форменной одежде, а внутри кареты, насколько улавливал взгляд, все было так же опрятно и правильно, как в больничной палате. Уйти можно было с почти оправданным убеждением, что произошло нечто законное и правомерное.

— По американской статистике, — заметил господин, — там ежегодно из-за автомобильных катастроф гибнет сто девяносто тысяч и получает увечья четыреста пятьдесят тысяч человек.

— Вы думаете, он мертв? — спросила его спутница, у которой все еще было неоправданное чувство, что она присутствовала при чем-то из ряда вон выходящем.

— Надеюсь, он жив, — отвечал господин. — Когда его вносили в машину, он казался живым.

2

Дом и жилище человека без свойств

Улица, где произошел этот маленький несчастный случай, была одним из тех длинных, извилистых транспортных потоков, которые лучами вытекают из центра города, пересекают окраины и впадают в предместья. Задержись здесь наша изящная пара чуть дольше, она увидела бы нечто такое, что ей наверняка понравилось бы. Это был отчасти еще сохранившийся сад восемнадцатого или даже семнадцатого века, и, проходя мимо его решетчатой ограды из кованого железа, можно было увидеть между деревьями, на тщательно подстриженном газоне, что-то вроде небольшого, с короткими крыльями

зámка, охотничьего или предназначенного для любовных радостей замка минувших времен. Точнее говоря, его несущие арки остались от семнадцатого века, парк и верхний этаж отдавали восемнадцатым, фасад был обновлен и немного испорчен в девятнадцатом веке, так что все вместе казалось несколько смазанным, как фотографические снимки, сделанные один поверх другого; но все же при виде всего этого никак нельзя было не остановиться и не сказать «ах!». А когда это белое прелестное зданьице отворяло свои окна, взгляду открывалась благородная тишина уставленных книгами стен жилища ученого.

Это жилище и этот дом принадлежали человеку без свойств.

Он стоял за одним из окон, смотрел сквозь нежно-зеленый фильтр садового воздуха на коричневатую улицу и уже десять минут с часами в руке считал автомобили, экипажи, трамваи и размытые расстоянием лица пешеходов, заполнявших сеть взгляда торопливым снованием; он определял скорости, углы, кинетическую энергию движущихся физических тел, которые молниеносно притягивают, привязывают, отпускают глаз и в течение не поддающегося никакому учету времени заставляют внимание упереться в них, оторваться, перескочить к следующему и метнуться за ним; короче говоря, немного посчитав в уме, он со смехом спрятал часы в карман и пришел к заключению, что занимался ерундой... Если бы можно было измерить скачки внимания, работу глазных мускулов, колебательные движения души и все усилия, затрачиваемые человеком на то, чтобы удержаться на ногах в потоке улицы, получилась бы, наверно, — так он думал и забавы ради попытался вычислить эту невозможную сумму — величина, по сравнению с которой сила, необходимая Атланту, чтобы удержать на себе мир, ничтожна, и можно было бы измерить, какую огромную работу совершает ныне даже человек, ничего не делающий.

Ибо человек без свойств был сейчас таким человеком.
А делающий что-либо?

— Из этого можно извлечь два вывода, — сказал он себе.

Мышечная работа обывателя, который спокойно ходит целый день по своим делам, значительно больше, чем мышечная работа атлета, который раз в день выжимает огромный вес; это доказано физиологически, и, значит, мелкие обыденные усилия в их общественной сумме и благодаря тому, что они поддаются этому суммированию, вносят в мир, пожалуй, больше энергии, чем героические подвиги; героический подвиг представляется даже крошечным, как песчинка, с помпой водружаемая на гору. Эта мысль ему понравилась.

Но нужно прибавить, что понравилась она ему вовсе не потому, что он любил обывательскую жизнь; напротив, ему просто доставляло удовольствие создавать затруднения своим склонностям, которые когда-то были иными. Может быть, как раз обыватель-то и предчувствует начало огромного нового, коллективного, муравьиного героизма? Его назовут рационализированным героизмом и сочтут куда как прекрасным. Кто может знать это уже сегодня? А таких остававшихся без ответа вопросов тогда были сотни. Они носились в воздухе, они горели под ногами. Время двигалось. Люди, которые тогда еще не жили, не захотят этому поверить, но уже тогда время двигалось со скоростью верхового верблюда, а не только сегодня. Не знали лишь куда. Да и не могли как следует разобраться, что было наверху, а что внизу, что шло вперед, а что назад.

— Можно делать что угодно, — сказал себе человек без свойств, пожимая плечами, — в такой сумятице сил это не имеет ни малейшего значения!

Он отвернулся, как человек, который научился отказываться, даже почти как больной, который боится всякого сильного прикосновения, и когда он, шагая через смежную гардеробную, проходил мимо висевшей там боксерской груши, он нанес ей такой быстрый и мощный удар, каких в смиренном настроении или в состоянии слабости обычно не наносят.

**Даже у человека без свойств есть отец,
обладающий свойствами**

Только, собственно, из озорства и потому, что он терпеть не мог обычных квартир, снял человек без свойств, не так давно вернувшись из-за границы, этот маленький замок, бывший некогда летней резиденцией перед городскими воротами, которая утратила свое назначение, когда ее поглотил разросшийся город, и стала в конце концов всего лишь пустующим, ждущим повышения цен на землю, никем не заселенным земельным участком. Арендная плата была соответственно низкой, но неожиданно много денег ушло затем на то, чтобы привести все в порядок и увязать с современными требованиями; это была авантюра, исход которой вынудил его обратиться за помощью к отцу, что ему, человеку без свойств, отнюдь не было приятно, ибо он любил свою независимость. Ему было тридцать два года, а его отцу шестьдесят девять лет.

Старик был в ужасе. Не от внезапной атаки, собственно, хотя и от нее тоже, ибо терпеть не мог опрометчивость, и не от затрат, на которые он должен был пойти, ибо, в сущности, ему было по душе, что сын его обнаружил потребность в домашнем быте и собственном устройстве. Но приобретение здания, которое, хоть и с прибавлением уменьшительного словечка, нельзя было определить иначе, чем замок, оскорбляло его чувства и пугало их, как чреватая бедой дерзость.

Сам он начинал домашним учителем в сиятельных домах — будучи студентом, а потом и молодым помощником адвоката, и, собственно, не от нужды, ибо уже отец его был состоятельным человеком... Позднее, однако, став университетским преподавателем и профессором, он почувствовал себя за это вознагражденным, ибо, благодаря этим тщательно поддерживаемым связям, постепенно сделался юридическим консультантом почти всей земельной аристократии своей родины, хотя теперь-то

и вовсе не нуждался в побочном занятии. И даже долгое время после того, как приобретенное им таким путем состояние уже выдерживало сравнение с подарком семьи рейнских промышленников, которое некогда принесла рано умершая мать его сына, не прерывались эти добытые в молодости и укрепленные в зрелом возрасте связи. Хотя от настоящей адвокатуры уважаемый ученый теперь отстранился и лишь при случае занимался высокооплачиваемым арбитражем, все события, касавшиеся круга бывших его покровителей, тщательно регистрировались в его записях, с большой точностью переносились с отцов на сыновей и внуков, и не проходило ни одной свадьбы, ни одного дня рождения, ни одних именин без поздравительного письма с тонкой смесью почтительности и общих воспоминаний. Столь же пунктуально приходили каждый раз и короткие ответные письма, благодарившие дорогого друга и маститого ученого. Поэтому сын его с молодых ногтей знал этот аристократический талант почти бессознательно, но точно взвешивающего высокомерия, который безошибочно устанавливает меру любезности, и раболепие человека, принадлежащего как-никак к духовной аристократии, перед владельцами лошадей, пахотных земель и традиций всегда раздражало его. Но отец его был нечувствителен в этом пункте не по расчету: большую карьеру таким путем он сделал исключительно по природному побуждению, он стал не только профессором, членом академий и множества научных и государственных комитетов, но и рыцарем, комтуром, даже кавалером большого креста высших орденов, его величество наконец даровал ему потомственное дворянство и еще до того назначил членом верхней палаты. Удостоившись этого отличия, он примкнул там к либерально-буржуазному крылу, которое иногда противостояло нобилитету, но характерно, что никого из его аристократических покровителей это не обижало и даже не удивляло; в нем ничего иного, чем дух поднимающейся буржуазии, никогда и не видели. Старик деятельно участвовал в специальных комиссиях по законодательству, и даже когда он при каком-нибудь

бурном голосовании оказывался на буржуазной стороне, у противной стороны это вызывало не злость, а скорее чувство, что его просто не пригласили. В политике он не делал ничего другого, чем то, что уже и прежде было его функцией: соединял превосходящее и порой мягко корректирующее знание с впечатлением, что на его личную преданность можно все-таки положиться, и, существенно не изменившись, как утверждал его сын, стал из домашнего учителя учителем верхнепалатным.

Когда он узнал об истории с замком, она показалась ему нарушением некой не определенной законом, но тем более требующей строгого соблюдения границы, и он осыпал своего сына упреками, еще более горькими, чем те, что он уже не раз делал ему в прошлом, звучавшими даже как предсказание скверного конца, который, мол, теперь начался. Оскорблено было главное чувство его жизни. Как у многих, кто достиг чего-то значительного, состояло оно, далекое от своекорыстия, из глубокой любви к полезному, так сказать, вообще и сверхлично, другими словами — из честного уважения к тому, на чем строишь свою выгоду, уважения не оттого, что ты ее строишь, но в гармонии и одновременно с нею, а также и по общим причинам. Это очень важно; даже благородная собака ищет себе место под обеденным столом, не смущаясь тем, что ее пинают ногами, вовсе не из собачьей подлости, а из привязанности и верности, а люди холодного расчета не добиваются и половины того успеха в жизни, что души правильно смешанные, способные действительно любить людей и условия, которые приносят им выгоду.

4

**Если есть на свете чувство реальности,
то должно быть и чувство возможности**

Чтобы легко пройти в открытые двери, надо учитывать тот факт, что у них есть твердый косяк. Это правило, по которому всегда жил старый профессор, есть просто

требование чувства реальности. Но если есть на свете чувство реальности — а в его праве на существование никто не усомнится, — то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности.

Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: случилось, случится, должно случиться то-то и то-то; нет, он станет выдумывать: могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то; и если ему о чем-нибудь говорят, что дело обстоит так-то и так-то, он думает: ну, наверно, оно могло бы обстоять и иначе. Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет. Ясно, что следствия такого творческого дарования могут быть любопытными, и нередко, к сожалению, они представляют то, чем люди восхищаются, ложным, а то, что они запрещают, дозволенным или и то и другое не имеющим ровно никакого значения. Такие люди возможности витают, как говорят, в облаках — в облаках фантазии, мечтаний и сослагательного наклонения. У детей, имеющих эту тягу, ее настойчиво искореняют, называя при них таких людей фантазерами, мечтателями, слюнтяями, а также критиканами и придирами.

Когда хотят их похвалить, этих глупцов называют также идеалистами, но все перечисленные прозвища применимы только к слабой их разновидности, которая не может понять реальность или жалким образом избегает ее, то есть применимы тогда, когда отсутствие чувства реальности и в самом деле означает недостаток. Между тем возможное включает в себя не только мечтания слабонервных особ, но и еще не проснувшиеся намерения Бога. Возможное событие или возможная истина — это не то, что остается от реального события или реальной истины, если отнять у них их реальность; нет, в возможном, по крайней мере на взгляд его приверженцев, есть нечто очень божественное — огонь, полет, воля к созиданию и сознательный утопизм, который не страшится реальности, а подходит к ней как к задаче, как

к изобретению. Чтобы проще было понять, чем отличаются люди с чувством реальности от людей с чувством возможности, достаточно подумать о какой-нибудь определенной сумме денег. Все возможности, какие содержит в себе, например, тысяча марок, она ведь содержит независимо от того, есть ли она у тебя, или ее нет; тот факт, что она есть у меня или у тебя, так же ничего не прибавляет тысяче марок, как ничего не прибавляет какой-нибудь розе или какой-нибудь женщине. Но дурак прячет эти деньги в чулок, говорят люди реальности, а способный человек делает с ними что-то; даже к красоте женщины тот, кто ею владеет, несомненно, что-то прибавляет или, наоборот, что-то отнимает от ее красоты. Возможности пробуждают реальность, и нет ничего нелепее, чем отрицать это. И все-таки в сумме или в среднем всегда остаются одни и те же возможности, повторяющиеся до тех пор, пока не появится человек, для которого что-то реальное значит не больше, чем что-то мыслимое. Он-то лишь и дает смысл и назначение новым возможностям, и он пробуждает их.

Однако такой человек — явление не очень-то простое. Поскольку его идеи, если это не пустые химеры, суть не что иное, как еще не рожденные реальности, у него, естественно, тоже есть чувство реальности; но это чувство возможной реальности, а оно достигает своей цели куда медленнее, чем присущее большинству людей чувство их реальных возможностей. Этому человеку подавай, так сказать, лес, а другому хватит деревьев; но лес — это нечто такое, что трудно выразить, тогда как деревья означают столько-то и столько-то кубических метров древесины определенного качества. Или, может быть, лучше сказать иначе: человек с обыкновенным чувством реальности подобен рыбе, которая клюет на удочку и не видит лески с крючком, а человек с тем чувством реальности, которое можно назвать и чувством возможности, забрасывает удочку, понятия не имея, насажена ли наживка. Чрезвычайное равнодушие к хватающей наживку жизни навлекает на него опасность

творить совершенно нелепые вещи. Непрактичный человек — а он не только кажется таковым, он таков и есть — всегда ненадежен, и в отношениях с людьми от него можно ждать всяческих неожиданностей. Он будет совершать действия, которые означают для него нечто иное, чем для других, но спокойно воспримет что угодно, если только это можно охватить какой-нибудь необычайной идеей. И к тому же сегодня он еще очень далек от последовательности. Вполне, например, возможно, что преступление, наносящее ущерб другому, покажется ему всего лишь социальным просчетом, виновен в котором не преступник, а устройство общества. Вряд ли, однако, пощечина, которую получит он сам, представится ему позором общества или хотя бы чем-то столь же безличным, как укус собаки; наверно, он сначала даст сдачи, а уж потом придет к мнению, что этого он не должен был делать. И уж конечно, если у него отнимут возлюбленную, то сегодня он еще не вполне способен отрешиться от реальности такого оборота дела и вознаградить себя новым, внезапным чувством. В данное время развитие в этом направлении еще продолжается и обращивается для отдельно взятого человека как силой, так и слабостью. И поскольку обладание свойствами предполагает известную радость по поводу их реальности, то это позволяет увидеть, как кто-то, у кого нет чувства реальности и по отношению к себе самому, может вдруг в один прекрасный день предстать себе человеком без свойств.

5

Ульрих

Человека без свойств, о котором здесь повествуется, звали Ульрих, и Ульрих — неприятно звать все время по имени кого-то, с кем еще так мало знаком, но фамилию приходится ради его отца утаить, — Ульрих представил

первый образчик своего способа думать уже на рубеже отрочества и юности в одном школьном сочинении на патриотическую тему. Патриотизм был в Австрии совершенно особым предметом. Германские дети, например, просто учились презирать войны австрийских детей, и им внушали, что французские дети — это внуки истощенных распутников, которые тысячами пускаются наутек при виде германского солдата с длинной окладистой бородой. И совершенно то же самое, только с перестановкой ролей и желательными заменами, заучивали тоже часто одерживавшие победы французские, русские и английские дети. А дети — хвастуны, они любят играть в сыщиков-разбойников и всегда готовы считать семью Икс из Большого Игрековского переуллка, если они случайно к ней принадлежат, самой главной семьей на свете. Их, стало быть, легко склонить к патриотизму. Но в Австрии это было немного сложнее. Ибо хотя во всех войнах своей истории австрийцы побеждали, после большинства этих войн им приходилось что-нибудь да уступать. Это будит мысль, и в своем сочинении о любви к отечеству Ульрих написал, что серьезный друг отечества никогда не вправе считать свое отечество самым лучшим; больше того, в озарении, которое показалось ему особенно прекрасным, хотя он был слишком ослеплен его блеском, чтобы разобрать, что происходит, он прибавил к этой подозрительной фразе еще и вторую — что, наверно, и Бог предпочитает говорить о своем мире в *conjunctivus potentialis*¹ (*hic dixerit quispiam* — здесь можно выразить...), ибо Бог создает мир, думая при этом, что сошло бы и по-другому... Ульрих был очень горд этой фразой, но, по-видимому, он выразился недостаточно ясно, ибо поднялся переполох и его чуть не исключили из школы, хотя никакого постановления так и не приняли, потому что не могли решить, чем считать его дерзкое замеча-

¹ В сослагательном наклонении, выражающем возможность (*лат.*).

ние — хулой на отечество или богохульством. Он воспитывался тогда в аристократической гимназии Терезианского дворянского лицея, поставлявшей самый благородный материал для столпов государства, и его отец, разгневанный тем, как посрамило его это далеко от яблони упавшее яблоко, отправил Ульриха на чужбину, в одно маленькое бельгийское воспитательное заведение, которое находилось в захолустном городке, управлялось с хорошей коммерческой хваткой и, при невысоких ценах, недурно зарабатывало на проштрафившихся учениках. Там Ульрих научился презирать идеалы других и в более крупном, международном масштабе.

С той поры пролетели, как облака по небу, шестнадцать или семнадцать лет. Ульрих не сожалел о них и гордости за них не испытывал, на тридцать третьем своем году он просто удивленно смотрел им вслед. За это время он побывал в разных местах, иногда ненадолго задерживался и на родине и везде занимался как почтенными, так и пустыми делами. Намеком уже дано было понять, что он был математик, и больше об этом не стоит распространяться, ибо на любом поприще, если подвизаешься на нем не ради денег, а из любви, наступает момент, когда кажется, что прибавление лет никуда не ведет. После того как этот момент продлился довольно долго, Ульрих вспомнил, что родине приписывают таинственную способность наделять мечты корнями и почвой, и осел там с чувством путника, который навеки садится на скамью, хотя предчувствует, что тотчас же встанет.

Когда он при этом, выражаясь на библейский лад, устроил дом свой, он сделал одно открытие, которого, собственно, ждал. Он поставил себя перед приятной необходимостью полностью перестроить свое небольшое запущенное владение как пожелает. Все принципы, от чистой по стилю реконструкции до полной бесцеремонности, были к его услугам, и, соответственно, все стили, от ассирийского до кубизма, должен был он мысленно перебрать. На чем следовало ему остановить выбор?

Современный человек рождается в клинике и умирает в клинике, так пусть и живет как в клинике! — провозгласил недавно один ведущий зодчий, а другой реформатор интерьера потребовал передвижных стен в квартирах на том основании, что человек должен учиться доверять человеку, живя с ним вместе, и не вправе обособляться и замыкаться. Тогда как раз началось новое время (ведь это оно делает каждый миг), а новое время требует нового стиля. К счастью Ульриха, замок, каким он его застал, обладал уже тремя стилями, друг на дружке, так что с ним и правда нельзя было предпринять все, чего требовали; тем не менее Ульрих чувствовал себя очень взбудораженным ответственностью, накладываемой на него устройством дома, и угроза «скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты», которую он то и дело вычитывал в журналах по искусству, висела над его головой. После подробного ознакомления с этими журналами он пришел к выводу, что лучше уж ему взять в свои руки отделку собственной личности, и принялся собственноручно делать наброски будущей своей мебели. Но как только он придумывал какую-нибудь внушительно-громоздкую форму, ему приходило в голову, что ее вполне можно заменить технично скупой, функционально оправданной, а стоило ему набросать какую-нибудь истощенную собственной силой железобетонную форму, он вспоминал по-весеннему тощие формы тринадцатилетней девочки и начинал мечтать, вместо того чтобы принять решение.

Это были — в вопросе, всерьез его не очень-то трогавшем, — та знакомая бессвязность идей и то расширение их без средоточия, которые характерны для современности и составляют ее своеобразную арифметику, перескакивающую с пятого на десятое, но не знающую единства. Постепенно он стал выдумывать вообще только невыполнимые интерьеры, вращающиеся комнаты, калейдоскопические устройства, трансформируемые приспособления для души, и его идеи становились все более и более бессодержательными. Наконец он пришел к той

точке, куда его тянуло. Отец его выразил бы это примерно так: кто может выполнить все, что ему ни заблагорассудится, тот вскоре уже и сам не знает, чего ему желать. Ульрих повторял себе это с великим наслаждением. Эта подержанная мудрость показалась ему исключительно новой мыслью. Человека нужно стеснить в его возможностях, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями, трудностями и ограничениями, как безумца смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, приобретет, может быть, ценность, зрелость и прочность... Невозможно и впрямь перечислить, что означает эта мысль! Так вот, человек без свойств, вернувшийся на родину, сделал и второй шаг, чтобы подвергнуться формирующему воздействию внешних обстоятельств, на этой точке своих раздумий он просто предоставил устройство своего дома гению своих поставщиков в твердом убеждении, что они-то уж позаботятся о традиции, предрассудках и ограниченности. Сам он только освежил старые линии, оставшиеся здесь от прежних времен, темные оленьи рога под белыми сводами зальца, плоский потолок салона, а в остальном прибавил все, что казалось ему целесообразным и удобным.

Когда все было готово, он вправе был покачать головой и спросить себя: вот, значит, жизнь, которая должна стать моей?.. Он обладал очаровательным небольшим дворцом: дом этот следовало так назвать, ибо он был совершенно таким, каким воображают дворцы, — этакой изысканной резиденцией для важного лица, каким его представляли себе мебельные, ковровые и санитарно-технические фирмы, главенствующие в своих областях. Только этот прелестный часовой механизм не был заведен, а то бы по въезду подкатили кареты с сановниками и знатными дамами; лакеи спрыгнули бы с запяток и недоверчиво спросили Ульриха: «Милый человек, где ваш хозяин?»

Он возвратился из заоблачной выси и сразу же снова обосновался в заоблачной выси.

Леона, или Смещение перспективы

Устроив дом свой, надо взять кого-то в жены себе. Ульриховская подруга тех дней звалась Леонтиной и была певицей в небольшом варьете; она была высокого роста, стройная и полная, раздражающе вялая, и называл он ее Леоной.

Она обратила на себя его внимание влажной темнотой глаз, болезненно-страстным выражением красивого, с правильными чертами, продолговатого лица и чувствительными песнями, которые она пела вместо непристойных. Содержание всех этих старомодных песенок составляли любовь, страдание, верность, одиночество покинутой, шум леса и блеск форели. Рослая и до мозга костей одинокая, стояла Леона на маленькой сцене и терпеливо пела их публике голосом домашней хозяйки, и если в ее исполнении все же попадались рискованные в нравственном смысле места, то в них уж и вовсе не было жизни, потому что и трагические, и игривые чувства эта девушка подкрепляла одинаковыми, старательно заученными жестами. Ульриху это сразу напомнило не то старинные фотографии, не то красавиц в немецких семейных журналах давно минувших лет, и, вдумываясь в лицо этой женщины, он открыл в нем множество черточек, которые никак не могли быть реальными и все же составляли это лицо. Конечно, во все времена есть все разновидности лиц; но вкус времени выделяет всегда какую-то одну и возводит ее в счастье и красоту, а все другие лица стараются тогда уподобиться такой разновидности; даже безобразным это более или менее удается с помощью прически и моды, никогда это не удастся лишь тем рожденным для странных успехов лицам, в которых, ничем не поступаясь, выражает себя величественный и отживший свой век идеал красоты прежней эпохи. Трусами прежних воцелений мелькают такие лица в великой пустоте любовного вихря; и когда мужчины глазели в про-

стор скуки, которой было исполнено пение Леонтины, и не понимали, что с ними происходит, крылья носа дрожали у них совсем от других чувств, чем при виде маленьких, дерзких, причесанных под «танго» певичек. Тогда-то Ульрих и решил назвать ее Леоной, и обладать ею показалось ему столь же деланным, как обладать большой, обработанной скорняком львиной шкурой.

А после того как началось их знакомство, Леона развила еще одно несовременное свойство: она была невероятно прожорлива, а это порок, ревностное служение которому давно вышло из моды. По своему происхождению это было прорвавшейся наконец страстью бедного ребенка к дорогим лакомствам, а теперь он обрел силу идеала, выпущенного наконец из клетки и захватившего власть. Ее отец был, по-видимому, добропорядочным мещанином, который каждый раз бил ее, когда она заводила поклонников; но делала она это исключительно потому, что страшно любила сидеть в садике какой-нибудь маленькой кондитерской и, чинно поглядывая на прохожих, есть ложечкой мороженое. Нельзя, правда, утверждать, что она не была чувственна, но, коль скоро это дозволено, надо сказать, что и в этом, как во всем прочем, она была довольно-таки ленива и старалась не утруждать себя. В ее крупном теле каждому возбуждению требовалось удивительно много времени, чтобы дойти до мозга, и случалось, что среди дня глаза ее без причины увлажнялись, а ночью бывали устремлены в какую-нибудь точку на потолке, словно наблюдая за сидевшей там мухой. Точно так же она иногда в полной тишине начинала смеяться над какой-нибудь шуткой, которая дошла до нее только теперь и которую за несколько дней до этого она спокойно выслушала и не поняла. Если у нее не было особой причины для противоположного, она вела себя вполне порядочно. Каким образом она вообще пришла к своей профессии, вывести у нее было невозможно. Видимо, она и сама этого уже не помнила в точности. Выяснилось только, что исполнение песенок она

считала необходимой частью жизни и связывала с ним все возвышенное, что когда-либо слышала об искусстве и о людях искусства, вследствие чего ей казалось очень правильным, педагогичным и благородным выходить ежевечерне на маленькую, окутанную сигарным дымом сцену и исполнять песни, душераздирающее действие которых не подлежало сомнению. Разумеется, ее нисколько при этом не коробили нет-нет да попадавшие в текстах непристойности, потребные для оживления пристойного, но она была твердо убеждена, что первая певица императорской оперы делает в точности то же, что и она.

Конечно, если непременно называть это проституцией, когда человек отдает за деньги не, как то обычно бывает, всего себя, а только свое тело, то при случае Леона проституцией занималась. Но если в течение девяти лет, как она с шестнадцатого года своей жизни, зная скудость поденной платы на кабацкой эстраде, держать в голове цены на туалеты и на белье, вычеты, скупость и произвол хозяев, проценты от съеденного и выпитого увеселенными гостями и от счета за номер в соседней гостинице, если ежедневно иметь со всем этим дело, ссориться из-за этого и обладать коммерческой сметкой, тогда то, чем профан восхищается как разгулом, становится профессией, полной логики, целесообразности и сословных законов. Ведь как раз проституция — это такая штука, которую видишь очень по-разному, в зависимости от того, откуда на нее смотришь — сверху или снизу.

Но хотя Леона имела вполне объективное представление о половом вопросе, у нее была и своя романтика. Только всякая экзальтация, всякое тщеславие, всякая расточительность, такие чувства, как гордость, зависть, сладострастие, скупость, готовность отдаться, — короче, движущие силы личности и успеха в обществе связаны были у нее не с так называемым сердцем, а с *tractus abdominalis*, с пищеварительным процессом, с каковым они, кстати сказать, обычно связывались в прежние времена,